18+

Булат Безгодов

Влюбленные в Бога

Криминальная мениппея

Булат Безгодов

Влюбленные в Бога. Криминальная мениппея

«Издательские решения»

Безгодов Б.

Влюбленные в Бога. Криминальная мениппея / Б. Безгодов — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-653741-5

Среда обитания главного героя — Казань и Москва 90-ых. В романе откровенно рассказывается о его обострённом восприятии окружающей действительности и неприятии общих канонов и морали современного общества. Здесь представлен сокращенный вариант романа объемом 300 000 знаков. В исходной версии объем содержит 660000 знаков. Книга содержит нецензурную брань.

ISBN 978-5-00-653741-5

© Безгодов Б.
© Издательские решения

Содержание

Влюбленные в Бога 6
Часть 1. Суть и декорации 7
Первое впечатление… 7
Подай, принеси… 8
Неизбежно… 9
Школа одиночества… 11
Мозг… 12
Сомнения… 13
Бабай… 14
Женщины… 15
Художники… 16
Деревенские… 17
Паук… 18
Семь тюбетеек… 19
Первый исполнитель… 21
Тыдыщ… 22
Эволюция бывает такой… 24
И такой… 25
Шакалье 28
Второй исполнитель 30
Черное крыло 32
Конец ознакомительного фрагмента. 34

Влюбленные в Бога
Криминальная мениппея

Булат Безгодов

© Булат Безгодов, 2025

ISBN 978-5-0065-3741-5
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Криминальная мениппея:

Влюбленные в Бога

/… я понял: люди влюблены
и были в боль замотаны…
над ними плыли корабли,
как звёзды над болотами…/

Часть 1. Суть и декорации

Первое впечатление…

В школу я пришел с чувством облегчения, что не будет больше детского сада, детских извращений, и что теперь, как мне и обещали, все будет по-взрослому. Это был солнечный день с прищуренными лицами одноклассников, отчего казалось, что они плачут. Кругом были цветы, умиленные взрослые, звон колокольчиков. Прозвучала вдохновенная речь толстого завуча, нас строем повели в классы, требуя, чтоб мы шагали в ногу. Родители остались на улице. И как-то резко изменились преподаватели, лица стали жесткими, интонации требовательными и повелительными, прикосновения небрежными. Кажется, всех нас обманули. Я посмотрел на большие настенные часы, маршируя по вестибюлю, и ужаснулся тому, что на ближайшие десять лет буду вынужден посещать школу и исполнять чьи-то приказы. Как винтик огромного механизма, которому до меня нет никакого дела и я лишь первичное сырьё, из которого нужно родить некий продукт. Помню, что ощущал себя маленьким и беззащитным и что мне не вытерпеть эти десять лет. Странно, что я об этом думал. В уме я подбирал слова и не находил нужных, которые точно объяснили бы то, что я предчувствую.

Подлинное знакомство с классной руководительницей началось не с первого дня, когда она представилась Ниной Тимофеевной, а несколько дней спустя. Это была дородная, крепкой комплекции женщина с квадратным подбородком, какой обычно изображали на карикатурах у фрицев. И действительно, обладала она арийской внешностью, а на ее голове возвышалась башня из волос. Был в классе, по общему признанию, придурковатый мальчик, задиристый, он даже немного походил на олигофрена, но при этом однажды занял первое место на шахматном турнире среди начальных классов. И вот, когда наши первые впечатления еще не остыли, пятого сентября на большой перемене этот мальчик нечаянно задел дверью нашу учительницу. Она мстительно била его головой о парту, унизительно терла его лицо мокрой тряпкой для доски и называла дебилом.

Мы все к ней привыкли, и к ее мужу тоже. Дядю Володю знал весь район. Лицо у него было примечательное, как будто вылепленное в спешке, и носило вымученное выражение, какое бывает у только что умерших. Поскольку он был душевнобольной человек, он нигде не работал, зато каждый божий день приходил в школу, гонялся за детьми, и если ему удавалась кого-нибудь поймать, то он заводил школяра в туалет или за угол, засовывал в рот два больших грязных пальца и требовал, чтобы школяр блевал. У него была навязчивая идея, что все люди кругом больны и единственное средство – это проблеваться. Два пальца для него были тем же, чем был осиновый кол для инквизитора. Ходили слухи, что он долго лежал в психбольнице. И меня мучил вопрос: чем же его таким накормили, что он теперь доверяет лишь одной панацее от всех болезней? В остальном дядя Володя был безобиден, и администрация школы не считала нужным ограждать детей от его присутствия.

Подай, принеси…

Первые два класса прошли в тумане. А потом летом родители отправили меня в деревню к деду. К тому времени дядю Искандера выпустили на свободу. Он приехал в деревню, устроился пастухом на дальний выгон в лесах, в тридцати километрах от села, где и пропадал неделями. Мне было скучно. Дед пропадал в сельской школе, где работал директором, либо уезжал в районные командировки, а бабушка вела хозяйство и изредка проводила уроки иностранных языков. Соседские мальчишки сразу же взяли меня в оборот: «Подай, принеси, это наш песок, это наш бережок, наша улица». Их было шестеро, и держались они одной компанией. Первые дни я подавал, приносил, уступал, потому что мнение большинства отчего-то мною воспринималось как незыблемая правда. Это ещё со школы нам прививали. И ведь действительно есть что-то неправильное в том, что ты хочешь одно, а большинство – другое. На третий день, когда меня несколько раз пнули, я задумался… я ломал голову над тем, что же, собственно, неправильно я делаю. Помню, на четвёртый день я смеялся вместе со всеми ребятами, когда мать одного из них назвала меня маймулкой, ибо не сомневался, что эта взрослая женщина не скажет что-нибудь плохое мне, она просто по-доброму подшучивает. Не зря же все так весело смеялись. На пятый день меня снова попинали ребята. Я снова ломал голову. Казалось, я во всём им уступал, услуживал, помогал, искренне полагая, что приношу пользу моим новым приятелям. За что же тогда меня пинали? И почему их лица во время насилия выражали такое удовольствие? Я не в силах был это понять. Зато на шестой день, с утра, получив зуботычину от самого задиристого, чья мать окликала меня маймулкой, я в состоянии аффекта разбил ему лицо и накормил землей. Потом я сидел у себя в саду, среди красной смородины и крыжовника, внимательно прислушиваясь к своим чувствам. Я испытывал полное удовлетворение, но в том числе и грусть от осознания чувства одиночества.

Они вшестером перелезли через забор, окружили меня, и тот самый задиристый что-то вкрадчиво пришёптывал. Я обрадовался, думая, что они пришли мириться – так добренько улыбалось его круглое пухлое загорелое лицо. Сначала меня ударили сзади по затылку камнем несколько раз, потом принялись пинать. В кутерьме я подхватил камень и сначала разбил голову одному, потом другому. Ребята стали разбегаться. Я поймал задиристого и несколько минут избивал его, пока дружки смотрели с другой стороны ограды. Можно даже сказать, что я бил с наслаждением, и он заметил это. В глазах его появился гнусный страх.

В нашей компании всё поменялось местами. Мне приносили, мне подавали: это мой песок, это мой бережок, моя улица. Мне заглядывали в рот, слушая, что я скажу. В их глазах я читал страх, уважение, всё исполнялось с раболепием, и в то же время я замечал, что это их сильно мучает. Всякий раз казалось, что это выплеснется, взорвётся, и хотя я был маленьким, я опасался даже, что они меня как-нибудь потихонечку убьют. Было в их глазах что-то вымученное и постоянно настороженное. Однако ничего не выплескивалось, не взрывалось и ребята терпели. А мне становилось страшно тем сильнее, чем дольше я наблюдал за тем, что происходило в их душе. Они надламывали и задавливали сами себя, чтобы им стало легче подчиниться мне. Именно это меня пугало. Но вот мать задиристого заметила перемену в нашем общении и всякий раз, когда видела нас вместе, загоняла сына домой. И, кажется, требовала, чтобы он со мной не общался. Это стало подсказкой для меня.

Неизбежно…

Я перестал общаться с ребятами, и стало легче. Спать я стал крепче и спокойнее. Я рыбачил, весь день шёл вдоль по реке, удаляясь довольно далёко от села. Коптил в ивовых листьях рыбу и ел с хлебом и дикими травами. В леса я не заходил, чтобы не заблудиться и не нарваться на хищника. С наступлением темноты возвращался по болотистой речной долине, по кочкам, на которых гнездились коньки. Они, бывало, нападали стаей, сбивая меня с пути. Клевали и гадили, и едва я огибал определённое место – тут же отставали. Долина, мгла, тяжёлое небо – все гнетущее и огромное. Окрест поймы чернел бескрайний лес, в котором водился хищник. Казалось, вот-вот ноги сами понесут, побежишь без оглядки и больше уж не вернёшься к этой зловещей природе. Но изо дня в день я возвращался, ибо отчего-то манило к суровой и безлюдной тишине…

В гостиной от пола и до потолка вдоль несущей стены тянулись стеллажи с книгами. Однажды вернувшись к ночи, поужинав, я подошёл к полочкам. Названия книги под самым потолком я прочесть не мог. Названия тех, что располагались выше моего роста, ничего мне не говорили: «Термодинамика», «Теоретическая механика», «Квантовая физика», «Собрание сочинений Карла Маркса» и прочие мудрёные фолианты. Те книги, что располагались ниже уровня моих глаз, лежали на полочке с надписью «Уфология», и я решил, что это как-то связано с медициной. Конечно, были полочки и под «Уфологией», но я смотрел вперёд. Прямо перед моими глазами шли два ряда полок с книгами, заглавия которых мгновенно разожгли во мне любопытств: «Язык жестов», «Восприятие невербального», «Гипноз», «Массовый гипноз», «Нейро-лингвистическое программирование», «Дианетика», «Массовое сознание и психология» и много других. Имена авторов подсказывали мне, что книги эти фантастического характера: Фрейд, Юнг, Карнеги, Берн, Цвейг… Меня смутило лишь слово «гипноз», потому что слышал его прежде. Я открыл одну из них, «Психологию для начинающих», и во вступительном слове прочёл первое предложение: «Эта книга поможет вам понимать людей и влиять…» – наверное, едва успев прочитать эти несколько слов, я решил, что это то, что мне нужно.

Рыбалку я забросил. Я поедал книгу за книгой, с чаем в руке, с бутербродом, в предбаннике, в туалете, в саду, как будто боялся, что не успею прочитать всё это. Я не спал. За месяц я осилил обе полки. Я поедал одну книгу в два дня, при этом старательно зубрил всё важное. И ещё за три недели перечитал всё сызнова, чтобы закрепить. И хотел перечитать ещё раз. Между тем мне приходилось прерываться, например, чтобы сходить в магазин. Ребята отвыкли от меня, снова осмелели, бросали в меня камнями, когда видели на улице, причем кидание камнями сопровождалось оскорблениями: «Татарин, маймулка, убирайся!» Я выглядел неприглядно. Тощий, с мешками под глазами.

Бабушке было не до меня. Как раз в те дни, когда я ещё только увлёкся чтением, к нам приехала подруга дяди с двумя маленькими детьми. Одному не было и года, а второму, всего лишь три. Дядя почему-то не желал возвращаться с пастбища, чтобы встретиться с подругой и своими детьми. А подруга всё ждала. В доме стало неспокойно. Тётя Эльвира ходила в трусах, когда бабушки не было дома. В этом смысле она мне нравилась. Помимо меня она ещё нравилась деду, и это было заметно по вечерам, во время ужина: дед распалялся и затевал какой-нибудь интересный разговор. Тётя Эльвира в свою очередь буквально поедала деда глазами.

Тётя Эльвира была суровой матерью. Когда бабушки не было в доме, влетало обоим её сыновьям. Когда Ренат плакал, мать поднимала его, как обезьяну, за руку и швыряла куда-нибудь в угол. И поскольку он был ещё несформировавшимся неокрепшим младенцем, рука его однажды сломалась и кость вышла наружу. Я зачем-то тогда заглянул в дом и видел, как это произошло. На вопль моего братика вбежала бабушка, увидела кровь, кость, подошла к тёте

Эльвире и сказала: «Ещё раз, когда-нибудь и я тебя убью». Выгнать тётю Эльвиру бабушке было нельзя, и оставаться с ней в одном доме было невыносимо. В тот день я впервые услышал слово «неизбежно» и вспомнил первый день в первом классе, а ещё я подумал о моих братиках, но додумывать не стал и сразу же постарался забыть об этом. Это событие произошло как раз тогда, когда я хотел в третий раз перечитать мою «психологию». Тётя Эльвира была вынуждена уехать с Ренаткой в больницу на пару недель. Дома стало спокойнее. Вдруг объявился дядя. Два дня он уделил время оставшемуся дома старшему сыну, а потом засобирался обратно. Бабушка настояла, чтобы дядя забрал меня с собой, в леса, на природу.

Школа одиночества…

Добирались мы на стареньком мотоцикле, сквозь лес, по едва виднеющейся просёлочной колее. Чем дальше мы ехали, тем выше, тенистее и дремучее становился лес. Пастбище простиралось вдоль реки на полтора километра, по нему вяло бродили рассеянные коровы, среди них издалека я приметил пса. Загон располагался почти у берега, за ним зеленел луг с высокой травой. Сарайчик пастуха стоял на берегу. Возле сарайчика стояли палатки, сновали какие-то дяди, тёти, что-то варили в ведре на костре, купались, рыбачили, и когда мы подъехали, дядя торжественно пошутил: «Вот мой город солнца!» Они веселились каждый день, вечер, ночь, пели под гитару, выпивали. Меня поили чаем из смородины, приготовленным на костре. Дядя мой был особенный красавец – жгучий. Он виртуозно играл на гитаре, рояле, гармони и на других инструментах, и, видимо, в связи с этим каждый вечер уходил в сарайчик не с той, с которой проводил предыдущий. Им было хорошо. И мне тоже. Я был предоставлен самому себе, но при этом всегда был сыт, сух и чист. Девушки искренне и ненавязчиво обо мне заботились. И если мне захотелось бы поболтать, немедленно и непременно я оказался бы в центре всеобщего внимания. Но я был занят своими делами. То искал красивых жучков в куче навоза на опушке рощи, переходящей в густой лес. То рыбачил или купался. То собирал травы, ягоды и грибы. Всего было вдосталь. Иногда старая сука, шотландский колли по кличке Вега, молчаливо бродила за мной по пятам, не вмешиваясь в мои дела.

Вега катала меня на санках, когда мне было четыре года. Вега покусала пьяного гостя, шутливо замахнувшегося на меня, когда мне было пять.

Вега облизывала мои руки спустя несколько дней, когда поселенцы вдруг собрали палатки, пожитки и неожиданно уехали. Дядя загнал стадо в загон и уехал вместе с ними, сказав, что к вечеру вернётся, что едет проводить своих гостей. Ни к вечеру, ни на следующий день, ни через неделю он не вернулся. Весь первый день я проревел. На второй день стадо взломало ограду и вырвалось из загона на пастбище. На третий день, я попытался безуспешно загнать стадо в загон, но лишь добился того, что меня покусали осы, когда я пробивался сквозь заросли дикого шиповника. Несколько дней я болел, сильно опух, отёк и не высовывался из сарайчика. А потом привык. Питался всё той же рыбой, ягодами, грибами, травами и подъедал остатки того, что оставили жители «солнечного города». Я вновь чувствовал вокруг это – гнетущее и огромное. Ночью я спал в сарайчике на волчьих шкурах. Утром брал удочку из бамбука, медный портсигар, в который собирал кузнечиков для наживки, чёрный котелок и шел к реке.

Спустя три недели за мной приехали колхозники и возвратили меня бабушке, которая только тем днём узнала, что я живу на выгоне один. Всё дело было в том, что дядя запил, провожая гостей, и попал в КПЗ в райцентре. Да и бабушка с дедушкой и Ильдаром, как раз это время были в отъезде. Впрочем, я был цел, здоров и счастлив. Жизнь с первых минут моего возвращения вошла в свое прежнее русло: радио, гомон лесопилки, тракторный кашель.

Мы с бабушкой немедля пошли в школу, чтобы проверить, как там поживают нутрии на школьном подсобном хозяйстве, которым бабушка заведовала. На время своего отсутствия кормить нутрий бабушка поручила школьникам. Зверюшек было около двух дюжин. Однако в питомнике мы нашли клочья меха, кровь, головы, лапки и в углу огромную, неприлично жирную, изодранную нутрию.

Мозг…

В конце лета я вернулся в Казань. На пороге меня встретила мать. Что-то было не так – что-то, что я принёс с улицы. Я подошёл к окну. Напротив стояла хрущёвка, за ней ещё одна, и ещё одна, и так бесконечно. Все они были выкрашены в черные, коричневые и серые полосы, как тюремная роба, которую я видел в старом фильме об Освенциме. Я впервые увидел на примере, что такое массовый гипноз, и подумал о долгих-долгих годах моей жизни в этом гетто. У окна ли, на улице ли, я видел эти унылые полосы, как будто сообщающие мне о некоем внимательном надзирателе. Я жутко напугался на всю жизнь вперёд.

Первого сентября я пришёл в школу… и снова – коричневые платья, синие униформы. На перемене после первого урока ко мне подошёл одноклассник Иншаков, протянул мне красную повязку и в приказном тоне сказал, чтобы я подежурил вместо него. Мне вдруг стало ясным, почему первые два школьных года так мутны в моём сознании. Я отказал. Он дважды ударил меня в живот. Я разбил ему нос. Немедленно хлынула кровь, залила пиджачок. Иншаков плакал навзрыд, при этом крепко держал меня за руки и причитал: «Ты ведь больше не будешь?! Не будешь ведь?!..» – как будто боялся, что я ударю его снова. Поднялась кутерьма. Сбежались его дружки. Иншаков ревел, безуспешно пытался остановить течь, а дружки почему-то требовали, чтобы я извинился. Им было обидно за него. Они уверяли меня в том, что после моего извинения справедливость будет восстановлена. Они очень хотели меня заставить извиниться. Между тем, глядя, как Иншакову дурно, как он унижен и испуган, я засомневался в своей правоте. Мне уже было очень жаль его и вместе с тем стыдно. Они убедили меня. Я искренне извинился. Иншаков извинился передо мной и сказал мне, чтобы я больше так не делал. В тот день он был моим другом, был внимателен, общителен, справедлив. Я возвратился домой счастливым, полагая, что теперь моя жизнь станет спокойнее, что я подружился с ребятами. На следующий день он обозвал меня как бы в шутку. Ещё через день он обозвал меня дважды. На третий – высмеял мои старые ботинки и некрасивые черты моего лица перед классом, но тут же дружески похлопал по плечу. Каждый день он выматывал меня; изощрялся так, чтобы это не казалось прямой агрессией. А когда я всё-таки не выдержал и возмутился, приготовившись с ним драться, он сказал, что всё это мне просто кажется.

Ему помогали дружки. Они дразнили и обзывали меня. И я не мог сосредоточиться на ком-нибудь одном, чтобы выяснить отношения. Это были более коварные ребята, чем сельские. То они прикрывались дружбой, чтобы к чему-нибудь меня принудить – и я наивно обманывался; то требовали напрямик – и я отказывал, и тогда снова меня задирали на каждом шагу. Особенно обидно было, когда издевались надо мной при девочках, а ещё обиднее, когда девочки смеялись. В итоге я сломался. Почему? Это я сейчас пишу, как было, потому что понимаю. А в те дни, я ломал голову над всё тем же животрепещущим для меня вопросом: что не так я делаю?.. И с каждым днём я всё более считал себя виноватым. А они становились всё более правыми. Я совсем запутался.

Но было ещё кое-что, что усугубляло мое смятение – я читал людей. Зубрёж литературы по психологии не прошёл даром: на всех людей я смотрел сквозь призму этого опыта. В моём мозгу как-то спонтанно люди классифицировались по типам. Каждый знакомый мне человек, как бы и не был для меня человеком в прямом смысле слова, а скорее пакетом, в который был заложен набор характеристик. Как в переменную заложено значение или массив данных. Мой мозг внимательно следил за жестами человека, позой, мимикой, движением зрачков и соотносил всё это с голосом, интонацией, тембром и содержанием речи. Это происходило не по моей воле. Можно даже сказать я за деятельностью своего мозга удивленно наблюдал со стороны.

Сомнения…

Я тщетно пытался понять: а остальные видят то, что вижу я или нет? И если они видят, то, как они с этим живут? Первый день в первом классе, стена, часы – впереди десять лет. Бабушка с тётей в одном доме – впереди годы. Младенец со сломанной рукой – впереди жизнь.

Я надеялся, что кто-нибудь когда-нибудь объяснит мне эту жизнь. А пока почему-то все смотрели на меня повелительно, умно молчали, умно говорили, умно приказывали и, кажется, что-то знали, но суть скрывали, замалчивали, как будто боясь утратить какое-то преимущество.

Потом у меня появилось странное ощущение, будто я живу в более медленном темпе. Люди вокруг меня были быстрыми, много говорили, много шевелились. От каждого я получал гору информации. Меня приводило в замешательство и то, что мне говорили, и то, чего недоговаривали. То есть я слышал одно, а чувствовал другое, чего мне не сказали.

Я часто замечал, когда мне врали. Сначала я говорил об этом лжецам напрямик. Лжецы легко убеждали меня в обратном. Я не мог устоять. Казалось постыдным не верить таким честным глазам лжецов. Со временем правда всплывала и я говорил: «Ну, как же! Помните? Вы всё-таки тогда соврали», – но в лучшем случае от меня небрежно отмахивались, а в худшем били или с усердием принимались заверять и убеждать меня в ошибочности моих суждений. И если меня заверяли, я снова верил. Потому что заверения всегда звучат чистосердечно.

Я страстно хотел затереться в массе, стать незаметным, лишь бы меня не замечали. Я с усердием взялся за учёбу во втором полугодии третьего класса. Классная заметила мои успехи в учёбе. Меня стали чаще назначать дежурным, чаще просили полить цветы, чаще давать мелкие и не совсем приятные поручения. Насмешки в мой адрес умножились. Тогда я попробовал учиться плохо. Классная принялась донимать моих родителей и усилила контроль, а вместе с этим прибавила мне обязанностей. Я попытался отрицать, но это заканчивалось унизительным свиданием головы с поверхностью парты или мокрой тряпки с лицом. Едва-едва я дотерпел до лета. Помню, даже стал интересоваться разными способами суицида. К счастью эти фантазии реализовывались лишь во сне.

Бабай…

Лето я провёл в другой деревне – татарской, где жили родители моей матери. Старики почти не знали по-русски. Бабай говорил редко и только тогда, когда нужно было совершить какую-нибудь работу: покосить сено, подлатать сарай, мотыжить картофель. Мне странно было видеть его в те моменты, когда он случайно мимолётом забредал в зал, во время женского гвалта, сплетен, порицаний, одобрений. Женщины такие живые, всё чем-то интересовались: кто что купил; кто, как набедокурил; кто намаялся и прочее. И вдруг среди этих страстей призраком тихо возникала его коренастая сгорбленная фигура и тут же исчезала. В этом я находил особый знак. Иногда бабай мог прервать их страстный разговор за тем, чтобы попросить бабушку налить сто грамм. На него сердились, возмущались, дескать, как ему не стыдно при людях, при соседках, ведь можно и потерпеть. Ему наливали. Он вообще выпивал строго: на завтрак, в обед, на ужин перед сном… и не забывал требовать полдник. А если дело праздничное – будьте покойны, бабай непременно «налимонится». Лишь когда он был пьян, он подходил к нам с братом, ласково тыкал в бочок или безобразной корявой рукой гладил по спине и просил умоляюще и виновато: «Давай играть в карты». Пьяным он был очень тёплым, очень ласковым человеком. А когда был трезв, то был сух, молчалив и ко всей окружающей суете относился наплевательски. Он вообще странно относился к жизни: работал, выпивал, ничем не интересовался и ко всяким людским страстям был равнодушен, но при этом очень многое понимал и видел.

Бабка шпуняла его, как пацана. Бывало, награждала пинками, когда он становился наглым и требовал выпивки сверх положенной дневной нормы. Но любовь у них была по-настоящему нежная.

В молодости бабай славился силой, а между тем он был невысокого роста. Многие соседи обращались к нему за тем, чтобы он зарезал скотину. С каких-то пор он перед забоем начал читать молитву, а до того это дело выглядело просто: поплевал на ладони, потер их, взял длинный острый нож, чик и все… ноль эмоций. Когда же он начал читать традиционную молитву: «Агузы билляги мина шайтан иразим…» – он после того как перерезал горло, отворачивался.

Он был в этом мире таким же засланным казачком, как и я сам. Он как бы отгораживался от всего. У него было несколько орденов и около семидесяти медалей. Мы с братом почти всё растеряли. Положим, надо бабаю куда-нибудь сходить, он нацепит нам с братом медальки, сам идёт впереди, а мы счастливые за ним по следу катимся, медальками звеним. Над нами потешалось всё село. На девятое мая местные старики-ветераны надевали торжественные костюмы, гроздьями вывешивали на груди все награды, какие у них были, собирались в клубе. Под казённую водку вспоминали прежнее время, гордились победой, державой, героями и, как водится, слегка попрекали современность, а бабай вешал на свой старый истасканный пиджачок какой-нибудь орденок, чтобы ради приличия хоть как-то обозначить свою причастность и казался среди них чужаком.

Бабка была суровой татарской барышней. Общаясь с другими женщинами, она всегда напускала суровый вид и умно молчала. Зато с внуками бабка нежничала. Я любил наблюдать, как она готовит лепёшки или душистые булочки на сковороде, как медленно они покрывались румянцем, и красные угли переливались, и жар из печи припекал лицо. Однажды за этим занятием, бабка поведала мне историю о том, как в войну немецкая похоронная команда бросила бабая в блиндаж с трупами и как он, придя в сознание, выбирался оттуда. Ему было восемнадцать лет.

Женщины…

В то лето произошёл случай. К нам съехались в гости родственницы, тётки, они что-то варили, пекли, говорили друг о друге за глаза, ехидничали: «Вот сволочь! Какая сволочь! И как ей не стыдно сюда приехать?» – говорили они об одной родственнице, которую довольно радостно потом встретили. Говорили, не таясь от меня, полагая, видимо, что я не смогу додумать витиеватости их высказываний. Атмосфера была соответствующая, насыщенная интригой, ложью, завистью. Мной помыкали, мне приказывали, подай, принеси, и я вдруг взбунтовался не по делу. Сел на веранде поперёк прохода и во всеуслышание заявил, что ничего делать больше не стану. Тётки на меня накинулись, принялись упрекать, воспитывать, принуждать, но я стоял на своём. И когда меня стали называть хамом и бездельником, я зиганул – этот жест мне знаком был с детского сада. Подошла моя мать. Все были ошеломлены. Я ещё несколько раз злобно выкрикнул что-то, понимая, что от матери крепко влетит. У матери была в руках скалка. Вдруг подошел бабай, ласково потрепал по затылку и сказал негромко: «Не надо, сынок, забей ты на них». Впервые, я понял, что кто-то ещё видит тоже, что и я.

Мать, конечно, отвела меня в баню и поколотила, а после меня успокаивали тетки, сочувствовали, жалели и принуждали, чтобы я признал свою неправоту.

Художники…

В числе наших сельских родственниц была библиотекарша. Я вновь пристрастился к книгам. Я, ничего не сведущий в супружеских отношениях, с упоением прочёл «Крейцерову сонату». Больше чем за себя я переживал за персонажей Достоевского. В романах все было и складно и закономерно. Взрослые оказались довольны моей новой страстью – страстью к классической литературе, из чего у меня даже зародилось подозрение, что они никогда не читали её.

Узнав, что Толстой дворянских кровей, я усмотрел в этом факте тотальный подвох. Я перечитал все его книги, раскопал воспоминания современников о нём и более всего я обратил внимание на помин Вересаева о графе: «Уезжал я от Льва Николаевича с таким чувством, будто встретил одинокое голое дерево в январе, искусственно покрытое серебряным инеем».

Впоследствии вслед за полными собраниями сочинений Толстого и Достоевского несколько лет я штудировал Лескова, Бунина, Платонова, Набокова. Если Толстой призывал к смирению, то Достоевский вызывал истерические слёзы. Лесков вязал основательно, но нет-нет местами подобострастничал. Бунин нежничал и грустил. Платонов гомерически хохотал. Набоков был равнодушен, но и не обременял моралью. В текстах Булгакова не хватало определенности. Никто не излагал ясно. Уже тогда у меня сложилось впечатление, что все они знали истину. Они, в общем-то, были художниками, и говорить напрямки их ничто не обязывало. Складывалось впечатление, что истина известна многим, но только о ней не принято было говорить. Как будто стоило ей прозвучать, тут же стерли бы источник, а потом и всех слышавших. Мокрое место оставили бы.

По-видимому, будучи под влиянием художественной литературы я научился держать мысли при себе и не делиться ими ни с кем. Мне хотелось убедиться в том, что я действительно не параноик и не сумасшедший, и что сложившаяся картина в моей голове – не просто игра воображения.

Деревенские…

Бывало, я ездил с соседскими мальчишками купаться. Я старался реже с ними пересекаться. Мать спросила меня, почему я не общаюсь со сверстниками. Я ответил ей, что не понимаю их. Мать сказала: «Ты ненормальный, поэтому с тобой никто не может и не хочет дружить, и в школе у тебя всё неладно».

Река полукругом огибала наше село. Купались мы долго, по многу часов. Мальчишки топили сначала друг друга, как бы выясняя, кто сильнее и, наконец, выяснив, топили самого слабого, забавы ради. Частенько происходили стычки, драки. Но не было между ними: «Подай!», «Принеси!», «Это мой песок!», «Мой бережок!», «Моя улица!». Они могли отнять что-нибудь друг у дружки или задавить физически, но никто никем не помыкал. За любое дело первым брался самый сильный, потом подтягивались остальные.

Однажды мы договорились всей компанией выйти вечером погулять и заодно попробовать зайти в сельский клуб. Клуб для нас был запретной зоной, ибо мы были малы, а этой территорией владели гораздо более взрослые ребята, окончившие школу, побывавшие в армии, поработавшие на сельхозпредприятиях, пожившие в городе. Они курили какие-то сигареты в красивых ярких пачках, таскали магнитофоны, жевали дефицитные жвачки.

Вечером мы пришли в клуб. Никто не сказал, чтобы мы убирались. Нам сказали, чтобы мы принесли три литра водки. Откуда взять? – Откуда хотите. Мы искали, искали, и не нашли. За это нам не влетело. В тот же вечер я наблюдал ещё одно событие. Возле клуба возникла потасовка. Сразу, после того как нам дали по шее, к клубу подъехало два «газона» с мужиками из соседней деревни. Они рассредоточились, выловили с десяток наших сельских, не успевших убежать, которые только что били нас. Им сначала дали по шее, а потом приказали принести водки. Откуда взять? – Откуда хотите. Девчонки пытались улизнуть из клуба. Чужаки к ним цеплялись, и никто за девчонок не заступался. Чужаки тоже рисовались красивыми пачками от сигарет, жевали жвачки и были похожи на буйное стадо бычков. Вдруг появился здоровый молодой мужик из нашего села, велел им убираться. Кто-то бросился на него с ножом, но он как-то спокойно и ловко подловил одной рукой пьяного мужика, поднял над собой и швырнул в палисадник. Чужаки вытащили из фургона цепи, топоры. Он подождал, когда все они подойдут к нему поближе и сказал следующее: «За людское ответите». Чужаки отступили.

Паук…

В то лето все предчувствовали: что-то надвигается. Из всех определений происходящего, которые мне довелось слышать, особенно запомнилось слово «коллапс».

Люди ждали чего-то и почти не замечали друг друга, смотрели телевизор, ждали новостей. Однако в телеке не было ничего интересного, кроме Кашпировского, который повторял одно и то же: «У вас всё хорошо! Вы здоровы! Вы сыты! У вас всё наладится! Отныне у вас есть надёжный хозяин! Он в вашей голове! Он всесильный! Он за вами присмотрит! Он говорит вам – радуйтесь, будьте счастливы! Делайте, что хотите! Вы свободны!» – и люди в городах и сёлах внимательно смотрели. Людям было в диковинку. Люди верили.

В телеке были стадионы раскачивающихся людей, а в реальности, в комнате, передо мной были нормальные люди: отец, мать, наши гости, и они просто сидели и просто смотрели. Серьёзно, внимательно, молча. Я не мешал им – наблюдал. Было в этом что-то иезуитское.

Отец тем летом обещал сходить со мной на рыбалку. Я бы мог и один, но мне хотелось порыбачить именно с ним. Он обещал уже с неделю. Не позволяли дела и летняя деревенская работа по хозяйству. В воскресение он пообещал железно, но в обед диктор в телевизоре заявил, что через десять минут начнётся сеанс Кашпировского, дескать, соберитесь всей семьёй, пригласите друзей и соседей. Отец сказал, что сегодня порыбачить не получится.

К нам слетелись соседи, бабушки, дедушки, мужики, бабы. Все были в сборе. Сеанс начался. Они молчали и смотрели. Я смотрел на них. Прошёл час. Я не вытерпел и сказал: «Папа, пойдем на рыбалку, ты же видишь, как скучно». Он молчал. Все молчали. Никто даже не повернулся ко мне. Я не удивился. Я повторял: «Папа, папа, папа…». Никто меня не слышал – я почти кричал. «Папа, папа…» Отец вяло, даже вязко пошевелился. Тогда я взял отца за руку и встряхнул: «Папа, очнись!» Отец подпрыгнул со стула, истошно крикнул что-то, вцепился себе в волосы. У него было бледное лицо, зрачки навыкате, он задыхался. И никто не услышал его крик. Все сидели спокойно и смотрели в телевизор. Отец сказал: «Не смотри, сынок, не смотри, отвернись…» – показал пальцем на телевизор, повернулся к экрану, как будто хотел в чём-то убедиться и снова стал внимательным, молчаливым, серьёзным.

Я выбежал из дома во дворик. Возле бани сидел бабай. Он курил самосад. Он спросил: «Что?» Я ответил: «Они там все спят». Он неуклюже погладил меня безобразной корявой рукой по спине: «Не бойся, не бойся…» – всю жизнь он был очень скуп на слова. Возможно, ему было горько в тот момент из-за неумения объяснить, утешить, помочь словом. Глаза у него стали тяжёлыми, влажными.

Вскоре из дома выползли счастливые и обессилевшие люди. Они бессвязно перекликались между собой. Я подбежал к папе и повторил несколько раз, добиваясь, чтобы он обратил на меня внимание: «Зачем ты остался?» – он непонимающе поглядел: «Где?» Этот случай на долгие годы затерялся среди прочего хлама в моей голове.

До самого вечера я просидел в предбаннике, не желая заходить в дом. Вошёл, когда все уже спали. Я разделся и лёг на полу. Опёрся локтем о пол, подпёр голову ладошкой и как будто задумался. От лунного сияния всё было чётко видно. На стене висели часы. Стрелки показывали двенадцать ночи. Промелькнуло несколько мгновений, и как будто кто-то легонько коснулся моей головы. Я снова глянул на часы, стрелка показывала пять утра.

Семь тюбетеек…

В тот день бабая пригласили на семидневку. Неизвестно для чего он взял меня с собой. Гостей, включая бабая, было семеро. Я так и запомнил их – семь тюбетеек. Мулла восседал во главе стола. Тюбетейка на лоснящейся лысине сидела педантично ровно и подчеркнуто строго. Он читал размеренно, уныло смакуя каждую нотку и, наверное, очень хотел вызвать священный трепет в односельчанах.

За столом с муллой соседствовал пожилой учитель Фархад. С годами он стал малообщителен и нелюдим. У всякого его собеседника складывалось смутное впечатление, будто за ним пристально наблюдают. Тюбетейка на школьном учителе удлиняла и без того вытянутую голову.

Следующим сидел мясник. Огромный живот почти лежал на его коленях. Мясистое бордовое лицо обливалось потом, но на нём неожиданно было выражение детской непосредственности. На носу его была жирная бородавка. Маленькая тюбетейка едва держалась на его затылке.

Брата покойного посадили у окна. Цвет его лица был характерен для алкоголика. Он то снимал тюбетейку и бесцельно комкал в руках, то снова напяливал и успокаивался ненадолго.

Рядом с ним сидел его девяностолетний отец. В селе его знали, как поборника традиций, наставляющего по сему поводу всех и каждого. Но ему никто не сочувствовал, потому что оба его сына пьянствовали. Казалось, что его голова светится, от того что местами проглядывался белесый пушок. Его тюбетейка была похожа на таблетку и придавала ему ещё большей ветхости. Серо-голубые глаза глядели на всё цепко и остро. Сухонький профиль и орлиный крючковатый нос придавали лицу пронзительность.

Подле него сидел тракторист, друг детства покойного. Он слыл балагуром. Тюбетейка сидела на его голове залихватски, чуть съехав на лоб. В глазах тракториста застыло изумление.

Бабай подскребывал корявой пятернёй щетину. Тюбетейка на его плешивой голове похулигански сползла на бок, да и во всём его виде было что-то разгильдяйское и в то же время нечто мужицкое, крепкое.

Собравшиеся почтительно молчали. За столом брезжил слабый дух единства. Но вот молитва закончилась и мулла, напустив ещё больше строгости, начал импровизировать:

– Мы должны быть едины. Мусульмане страдают во всём мире. Америка уничтожает мусульман в Африке, в Азии. В России ислам низводят до сектантства. Террористы в Чечне, прикрываясь исламскими ценностями, подрывают наш имидж. В сложившихся условиях…

За столом завздыхали, закашляли, закряхтели, руки бесцельно забегали по манжетам, зачесались затылки, уши, переносицы, мясник осторожно зевнул, вслед за ним откровенно зевнул учитель. Дух единства заметно рассеялся. На высоких лбах проступили капли пота. Однако непреклонный мулла распалялся всё больше, явно выдавая чужие мысли за свои. Я поднялся с кресла, намереваясь выйти. Гости посмотрели на меня с завистью.

В других комнатах было много женщин. Они завершили кулинарные приготовления, сидели без дела и ждали, когда мужчины приступят к трапезе. Женщины сидели, как на иголках готовые в любую минуту подорваться с места, чтобы исполнить какую-нибудь работу. Лица их скукожились и явнее проступали морщины.

Между собой сельчанки никогда не обсуждали вопросов религии и какие-то высокопарные темы, а с особым вкусом смаковали подробности личной жизни соседей и односельчан. В присутствии чужаков это было, конечно, невозможно. Бабки, приехавшие из города, то и дело скорбно вздыхали. В городе они мнили себя миссионерками и были гораздо жёстче и требовательнее к собеседницам. На деревне они становились куда более смирными, а сель-

ские бабы при них прикидывались простушками, но друг друга они обмануть все равно не могли.

Вот уже два часа женщины ждали, а между тем мужчины ещё и не приступали к еде. Когда я миновал их, женщины притихли и все без исключения посмотрели на меня, лица выражали строгость, умиление, безразличие, готовность услужить гостю (и это было особенно приятно для десятилетнего мальчика), но в глазах я прочёл общую мысль: «Он вырастет кем угодно, но при любом раскладе, как и все мужики, будет сидеть за столом на поминках, пустозвонить ни о чём, тем самым, заставляя нас долго ждать очереди». Семидневка была пыткой для женщин. Каждая из них превратилась в оголенный нерв. Я успел заметить даже едва уловимое шевеление ушей: у каждой из них хотя бы одно ухо пеленговало зал.

Наконец, я выбрался на улицу к кособоким абзарам. Из дома донеслась суета, возвещавшая о том, что к столу, наконец, подают суп. Из дома вышел мулла, для того чтобы омыть в рукомойнике лицо, шею и руки. Затем он достал маленькую расчёску и принялся любовно подчёсывать редкую седую бахрому, окантовывающую лысину. Вдруг посмотрел на меня строго. Я скрылся в предбаннике, но продолжил подсматривать в щель между косяком и дверью. С тем же трепетом, не отрываясь от зеркала, он довольно долго расчёсывал брови. Потом мулла оглядел свое лицо и снова умылся с мылом. Только после всех процедур он надел тюбетейку и долго вымеривал соотношение краёв убора с висками, пока, наконец, не добился абсолютной симметрии.

В рамках религии человек не может быть высоким как небо и простым как река, что особенно заметно, когда из его головы лезут как опилки заблуждения, вокруг которых он блуждает сам, а иногда ведет за собой и других.

Первый исполнитель…

К первому сентября я вернулся в город. Казалось, мне не вынести девять учебных месяцев. И дело, конечно, было не в учебе.

К некоторой радости на нашем этаже поселились новые жильцы. Новосёлы играли в шахматы, а у меня в комнате помимо кушетки и шахматной доски ничего не было. Днями напролёт в нешкольное время я играл сам с собой. Глава соседского семейства был кандидатом в мастера спорта, как и мой в то время, преподавал в институте. Его сын тоже играл довольно прилично. На этой почве и завязалось знакомство. Устраивались нешуточные баталии. Кандидат в мастера быв по натуре задирист, играя с моим отцом, приговаривал: «Капут тебе одуванчик. Ну-ну, пешкоед! Ладно… пешка тоже не орешка». Мой отец всегда проигрывал – сосед всякий раз это едко комментировал. Сын кэмээсника наблюдал за игрой молча, но в глазах была насмешка.

В свою очередь, мы с сыном кэмээсника иногда резались до ночи. Побеждая, он тоже язвил и насмехался. Из шести партий я выигрывал одну и тогда отвечал ему тем же ехидством. Он сердился, кидал в меня фигурки и периодически бил. Однажды он чуть не выбил мне глаз, после чего я перестал ехидничать. Он был старше на три года.

Моя манера игры менялась. Я чаще прибегал к хитрым жертвам. Самым излюбленным было для меня осуществить ряд пустяшных ходов, цель которых становилась очевидна для противника, когда потери были уже неизбежны. Если я побеждал, то как-то исподтишка. Зато из десяти партий выигрывал три.

Когда кэмээснику надоедало играть в шахматы, он настойчиво предлагал моему отцу бороться на руках и опять же всегда побеждал. Однако в этом виде спорте мой отец смог разобраться лучше и со временем стал побеждать. Кода он одолел в первый раз, кэмээсник гневно оглядел свою руку, как будто говоря: «Ну, как же ты посмела, ядрёна вошь!» – а вслух сказал упрямо: «Давай ещё!» – а потом ещё и ещё. Кэмээсник сердился, нервничал, раздражался и с каждым поражением всё более бурно проявлял эмоции, пока совсем не выбился из сил. После этого случая он долго не заглядывал к нам.

На самом деле кэмээсник вынашивал план, который реализовал в день защиты диссертации. Мой отец был убежденным трезвенником и кэмээсник знал об этом. В тот солнечный майский день кэмээсник вернулся из института необычно рано, с другом-доцентом и трёхлитровой банкой спирта. Накануне кэмээсник предусмотрительно купил два билета в театр, чтобы женщины – его жена и моя мать – не мешали «празднику». Он уговорами вынудил моего отца присоединиться к столу. После третьего тоста кэмээсник

Расчувствовался и начал самодовольно твердить: «Я – кандидат! Я – кандидат!», а его друг-доцент – известный в институте насмешник – хлопнул новоиспечённого кандидата наук по спине и сказал: «Да! Ты – кандидат! Давай на спине напишем!»

Между тем, мой отец после второго тоста отказывался пить. Кэмээсник предвидел и это. Он знал, что отказ моего отца только раззадорит друга-доцента: «Такое событие! Да будь мужиком! Да ты нас огорчаешь! Да что ты всегда жены боишься!» К вечеру эти двое, злорадно ухмыляясь, вручили моей матери совершенно невменяемого мужа, как второй билет в театр одного актера.

Тыдыщ…

В квартире соседей царил уютный бардак. Все было старое – сервант, скрипучие кресла. Потрескавшийся от времени журнальный столик, как нельзя, кстати, подходил для шахматных партий. На стенах комнаты соседского пацана висели вырезанные из журналов портреты спортсменов, а на мебели – наклейки с тачками.

Потолок был в подтеках. Где-то проглядывала штукатурка. Местами свисали обои. Носки и тапки цеплялись о заусенцы на деревянном полу. Я любил проводить время в этом хаосе. Где за то, что ты нацепил редкую марку на дверку письменного стола, топал или играл в пробки. Зажимали пробку между ступнями и подскоком выбрасывали вперёд, чтобы сбить пробку противника. Попал – пробка переходит в твоё владение. Каждая пробка имела особый статус. Пробки выменивали, дарили, покупали и продавали, из-за них дрались. За ними ездили на свалку одеколонной фабрики и нередко отхватывали от тамошних пацанов.

На чужой территории был кинотеатр. Сосед с другом пошли на премьеру индийского боевика и взяли меня с собой. По дороге сосед инструктировал:

– Если привяжутся, дам знак, беги за мной! Не отставай!

Фильм произвёл на меня впечатление. Потом снилось, будто я в роли главного героя, крушу врагов направо и налево, рычу, как тигр, и каждый мой удар сопровождается: «тыдыщ! тыдыщ!».

Когда фильм закончился и включили свет, я увидел толпы мальчишек с «петушками» на головах. На выходе нас троих взяли под руки и увели в аллею. Нас расспрашивали, осматривали, ощупывали обстоятельно, по-хозяйски. Их было много: двадцать, а может тридцать. Я не успевал следить за их перемещением вокруг нас. Кто-то отходил к сбившейся кучке, от кучки кто-то подходил к нам, но вокруг нас постоянно кружило с десяток пацанов. Они были старше соседа, некоторые казались дядьками. Я заметил, что у них были ножи.

– Ты кто?

Я не понимал сути происходящего, как будто всё было непонятной для меня шуткой. Думал, что сосед встретил старых друзей. Он как будто не замечал меня. Бледный от мороза, насупившийся, он прижался спиной к березе и ответил тихо:

– Пацан.

– Деньги давай. – Сказали ему.

– С чушпанов получайте. – ответил сосед.

– Ты с улицы, что ль?

– Нет.

– Так чего ж ты фуфло толкаешь, чиграш?

После этот его ударили и он упал. Его стали остервенело бить. Кто-то прыгал на голове. Кто-то пинал. Я не мог пошевелиться. Когда ко мне подскочил какой-то «дядька» и крикнул:

– Ты кто?

Я ответил не своим глухим голосом:

– Я мальчик.

«Дядька» расквасил мне нос и я упал. В тот день я как будто заново родился, потому что в каком-то смысле вышел из тёплого «уютного» мирка на холодный ослепительный свет.

Уже кто-то другой подскочил и пнул меня по лицу. Попало вскользь. Я закричал:

– Дяденьки, не бейте, не бейте!

Возле меня было трое. Они смеялись. Они запугивали и угрожали. Почему-то не было страха, когда меня били, но когда стали запугивать словами – меня охватил тоскливый ужас. Я смотрел на проходящих прохожих, но дяди и тёти отворачивались и почти бежали дальше.

С моей детской колокольни все выглядело чудно. Взрослые построили окружающий меня мир: детский сад, школу, обещали институт и армию. Они заявляли громкие лозунги. При этом в действительности я видел безучастные лица прохожих. Я понял тогда, что мир, который взрослые строят совсем не таков, каким я себе его воображал. И принял это даже не как какую-то чудовищную ложь, но как многослойный пирог, как наказание внутри наказания.

– О, снимай, мне как раз варежки нужны!

Я боялся снять пальто (чтобы им не пришло в голову отнять) и вытянул из-за шиворота резинку, соединяющую варежки через рукава. «Дядька» кое-как натянул себе на пальцы мои варежки и принялся этим забавлять своих корешей. Между тем соседа тоже перестали бить.

Они не хотели нас отпускать и думали, вероятно, что делать с нами дальше. Но тут появился пацан, который увёл в неизвестном направлении приятеля моего соседа:

– Э, хорош, пацаны! – он показал на соседа и объявил: – У этого черта отец легавый, пусть уходят…

Домой соседа мы дотащили на руках.

– Если б не мой брат, вас бы раздели, – успокаивал нас соседский приятель.

Его не били. Среди той толпы был его троюродный брат. А у соседа были увечья и сотрясение. Только весной его выписали из больницы, ровно на третий день после гибели его приятеля.

– Пойдём, на похороны посмотрим, – позвал меня сосед.

Мы пошли в соседний двор. Хрущёвки – словно бараки – почернели от сырости и слякоти. Помойки разлагались от мусора. Вороньё на грязной прогалине, вдруг взмыло над двором и, сделав круг, снова приземлилось. Птицы как будто чего-то ждали. Глазки взирали на молчаливое людское племя, собравшееся у подъезда. Наконец, вынесли открытый гроб. Я увидел сине-желтую безволосую голову. Покойника я не узнавал. Я шепотом сказал соседу:

– Это же не он?

Сосед цыкнул на меня, но все же также шепотом пояснил:

– Его бензом облили и подожгли. Из-за олимпийки.

На школьной стенгазете нередко появлялись некрологи о зарезанных, забитых арматурой или кирпичами. Я наивно интересовался, поймали ли убийц и никто ничего не знал, хотя убийц можно было встретить в школе. Что касается погибшего соседского приятеля, следствие вскоре огласило версию, что погибший нёс канистру с бензином и встретил пятерых товарищей из местной криминальной группировки. Он предложил им нанюхаться бензина, нечаянно облился, из баловства поджёг спичку и загорелся.

Эволюция бывает такой…

По телеку появились новые телепрограммы и диковинные ток-шоу. Звучали слова демократия и гласность. Суть заявляемых лозунгов со всех утюгов заключалась в том, что нужно строить новую жизнь, только нигде не уточнялось, какова эта жизнь будет или каковой должна быть. Утюги ясно выражали только одну мысль: «…любить жизнь, нет ничего милее жизни, берегите жизнь, как зеницу ока, ведь её так легко потерять…» – и тут трудно было не согласиться, поскольку ежедневно приходилось беспокоиться о том, чтобы её не потерять.

В гостях у соседа за шахматами я скрашивал мутные будни той поры. Даже его отец кэмээсник поддался всеобщему унынию. Иногда я замечал некоторые подробности личной жизни. Однажды кэмээсник возвратился с работы голодный. Он грозно вошёл в кухню, где мы с его сыном пили чай, стал заглядывать в пустые кастрюли, пошарил в холодильнике и сказал:

– А что сегодня на ужин?

Из спальни донеслось:

– Картошки пожарь!

Кэмээсник походил чуток туда-сюда. Кажется, ему нигде не было уютно. Потом взялся приготовляться к завтрашнему дню, искал чистый костюм, рубашку, но, похоже, что найти не мог. О чём и сообщил жалобно:

– Я чего-то чистых вещей не нахожу.

– А они все грязные. В ванной лежат. Поди, постирай!

Надо сказать, похожие диалоги происходили и у меня дома. Кэмээсник весь вечер сидел перед телеком. Следующим вечером я снова был с соседом в их кухне. Голодный кэмээсник так же как и накануне застал нас за чаем. Он порыскал по сусекам, позвенел посудой, плеснул себе чаю и сделал пару бутербродов с колбасой. Пошёл к телеку. Мы с соседом услышали, как его родители перекрикивались из разных комнат:

– Почему ужина нет?

– Не приставай, голова болит.

– А мой костюм почему не стиран?

– Я же сказала: болит голова!

По первому каналу показывали американский боевик: главная героиня – каратистка уничтожала одного злодея за другим. Главный герой, тоже каратист, тщетно пытался добиться её расположения. Кэмээсник на следующий день возвратился с института пьяный с поллитровкой. Выпил, закусил, уснул.

Изо дня в день кэмээсник возвращался подшофе. Все прятались по комнатам. Кэмээсник приглашал моего отца поиграть в шахматы. За игрой накатывал четыре по сто, и если жены не было дома, выговаривался:

– Сейчас преподавать в институте стыдно. А куда я пойду, фарцевать? Нет, я буду делать, что умею. – И вдруг без всякого предисловия говорил: – Ну, народ! Ну, бабы! – Или переключался на моего отца. – Ты что такой покорный, не будь размазнёй!

Отец отмахивался дружелюбно. Кэмээсник замолкал, что-то обдумывал. Было у него двое детей, квартира, машина, дача, звание, а вот с женой – дал маху. На моего отца он стал поглядывать с завистью: жена смазливая, неплохая стряпуха, дома почти немецкий уклад и порядок. Однажды, набравшись наглости, он все же решился в отсутствие моего отца зайти к нам с бутылочкой красненького под каким-то пустым предлогом. Мать моя, возможно, и была польщена, но злодея отшила для уверенности вооружившись хлопушкой. С той поры кэмээснику я перестал сочувствовать.

И такой…

Как-то за шахматами его сын поведал мне, что хочет с приятелями съездить в Москву на финал чемпионата страны по футболу. Проблема был в деньгах. Скоро вернулся с работы крепко выпивший кэмээсник. По телеку показывали фильмы Гайдая и вся семья собралась в гостиной. Было весело и смешно. Все немного расслабились, устав от вражды. Сын спросил отца:

– Пап, дашь деньги? – и подробно изложил суть дела.

Кэмээсник почесал затылок и сказал:

– Учись, оболтус! Мал ещё, чтобы по стране кататься.

Мы с соседом ушли играть в комнату. Он напыжился. В зале, как-то уж необыкновенно весело смеялась мать, и всё смелее смеялся отец. Казалось, брезжил призрак перемирия. Но вот всё стихло, из зала все разошлись по комнатам, а к нам тихонько вошла мать соседа. Строго и взыскательно спросила сына:

– По алгебре подтянулся?

– Да, мам, – неожиданно покорно ответил сосед (таким я его не видел).

– Надолго хочешь ехать?

– С дорогой пару дней займет.

– Я дам деньги, но ты отцу не говори. Скажи, что поехал к другу в деревню на выходные?

– Спасибо, мам!

Сосед совсем как взрослый съездил в столицу, погулял по Красной площади, посмотрел матч, отработал с кого-то кожанку и приехал к вечеру понедельника, когда дома кипели страсти. В институте объявили о сокращениях. Кэмээсник вернулся домой с работы злым:

– Что сегодня на ужин?

Из спальни ему ответили:

– Я зарабатываю в пять раз больше тебя, может это тебе следует приготовить мне ужин.

– И давно ты так зарабатываешь?

– Ну и что?

– Всю жизнь всё устраивало, а как немного подкосило, так ты теперь королева?

– Пожарь картошки!

– Ты, мать, охренела в конец?!

Кэмээсник стянул ремень с брюк, пошел в спальню и вполсилы хлестанул жену по заду.

– Убивают! Помогите!

Жена голосила, но в глазах её он видел холодную насмешку. Дескать, гляньте, каков папаша изверг. Охренев от такого коварства кэмээсник влепил жене затрещину в момент, когда в спальню ворвался сын. Он ударил отца раз по зубам и два в ухо, а затем барской походкой ушел в свою комнату. После этого кэмээсник беспробудно забухал и умер, захлебнувшись рвотными массами.

Духовная оборона.

Шумы.

Однажды я подумал, что может быть это то самое утро, в которое я проснулся по-настоящему. Однако сонное оцепенение рассеялось. Я учуял запах вареной картошки. Я вскочил с кушетки, чтобы посмотреть на двор. За окном кружили и подскакивали на порывах ветра снежинки. Они черточками на стекле засоряли представшую мне унылую картину заснежен-

ного города с маленькими человечками, которые спешили по своим делам – и совершенно напрасно: потому что в этом простуженном аду куда разумнее было бы не иметь никаких дел.

В уклеенной зелеными обоями комнате с текущим потолком и занавесками похожими на медицинскую марлю единственное, что согревало мне взгляд, было ватное одеяло. За стеной – у соседей из другого подъезда – был слышен детский плач. Надрывался диктор «Первого канала». Откуда-то неразборчиво доносилась супружеская перепалка. Звук пробивался отовсюду: из-под плинтусов, через стыки бетонных перекрытий и зазоры дверных проёмов. Хлопали двери, гремела посуда, клокотал кашель, шоркали тапки. И ко всему прочему в это утро «составители моего человечества» истошно голосили.

– Угробил мою жизнь. До пенсии останешься паршивым преподавателем на кафедре!

– Дорогая, но ты тоже учительница…

– И не стыдно тебе себя с женщиной сравнивать?

– Я просто напоминаю. Я же ищу другую работу.

– Козёл! Два месяца ищешь. Посмотри, как живут люди.

– Ты о ком?

– Не передёргивай! Будешь равняться на нищих, так нищим и останешься!

– Но…

– У тебя все в роду такие безалаберные! – в мойку с визгом упал тазик, – всё просрали, ничего не достигли, алкаши!

Послышалась какая-то возня. Я подумал, что неровен час, отец прибьет мою несдержанную мать, ведь всякому терпению есть предел. «Пожалуйста, не надо, ну, пожалуйста… мама!» – закричал мой девятилетний братик, втискиваясь промеж взрослых, чтобы угомонить их. Я стоял за дверью и слушал, думая про себя: «Ничего-ничего, все наладится братишка». Отец отчего-то рассмеялся, и вслед за тем донеслись разъярённые возгласы матери: «Ненавижу, убью!». Казалось, мама одолевала. Вдруг с грохотом что-то упало. Душераздирающий вопль разнесся по квартире: «Он меня убил, помогите!». Истерически разрыдался братик. Тут уж и меня проняло. В три прыжка я преодолел расстояние до родительской спальни. Отец был страшен: с расцарапанным лицом, в крайней степени смущённый он прижался к стене; братик хохотал, прямо заливался, держась за живот; мать лежала на полу. Она мучительно скуксилась – пунцовая от слёз – и молитвенно простирала руки ко мне:

– Он пытался меня убить, помоги, сынок.

– Что он сделал мама?!

Но мать только твердила: «Он пытался меня убить…» Отец склонился над нею и сказал ласково:

– Милая, ну перестань, ну что с тобой сегодня такое…

Она заверещала:

– Не приближайся! Уберите его, умоляю!

Братик увёл меня в другую комнату и рассказал, что, мать так и не смогла спровоцировать отца. Она сама начала бить и царапать его. Остановиться уже не могла. Отец не зная, что предпринять, слегка укусил её за руку. Мать повалилась навзничь и заголосила прежде, чем успела понять, что ущерба никакого не понесла.

Мне следовало поскорее уйти. Я надел школьную форму и в надежде позавтракать зашел в кухню, где мать бесцельно перекладывала посуду. У нас состоялся бессловесный диалог. «Ты всегда против меня!» – «Хочешь, чтобы я принял твою сторону?» – «Пошел вон отсюда, пусть тебя отец кормит!» – «Так ты хочешь, чтобы он уверовал в свою виновность?» – «А кто виноват?!» – «Понятно. Мы с тобой будем дружить против него и рано или поздно вопрос о вашем разрыве станет закономерным, ну, а ты честная женщина» – «Тебе нищета, кажется, лучше?» – «А тебе кажется, что найдешь кого-то, кто не станет пить тебе кровь? Людям всегда что-нибудь кажется. Хочешь, чтобы братик тоже предал отца? Ты предашь меня, чтобы было легче под-

нимать братика, и он потом возненавидит тебя престарелую?» – «Ну, что ты такое несешь?» – «Не, мам, проехали. Можно я быстренько позавтракаю?»

Мать перекидала куски хлеба из тарелки в пакет. Кинула тарелку в мойку и разбила её. Хлопнула дверкой холодильника. Подняла крышку над кастрюлей и, не заглянув в неё, с лязгом накрыла. Пнула табурет и взвизгнула от боли. Наконец, зашипела на меня: «Что смотришь?». Она вроде бы хотела ударить, но в кухню вошёл братишка. Посмотрел на меня вопросительно: «За кого?» Я сказал матери:

– Мам, достаточно уже.

– Лучше замолчи! – предупредила меня мать и тотчас же отоварила братишку подзатыльником и толкнула в спину. – Что встал?!

Шакалье

Я вышел из дома не евши. На этаже повстречал соседа. Мы спустились двумя пролётами ниже, чтобы покурить в закутке. Там, в батарее, был спрятан окурок «Magna», прогретый, подсохший и оттого ядрёный. У соседа была пачка «Bond». Я немного завидовал ему. Благодаря старым связям отца сосед поступил на престижный факультет. Теперь он тусил в центре. С помощью покровителей ему удалось выйти из группировки без последствий. Сосед прикурил и сказал небрежно:

– Надо уезжать отсюда.

– Куда?

– Куда угодно – мой тебе совет. Мы скоро переедем. Мать говорит, что мы живём в гетто, за границей которого не вправе селиться социальное большинство.

Он докурил в тишине, деловито справил нужду в мусорный бак и, молча, не попрощавшись, покинул закуток. Я спохватился, потому что в надежде, что он угостит цельной сигаретой, не притрагивался к своей заначке. Я закурил, испытав головокружение. Табак хорошо перебивал аппетит, а к третьему уроку всегда очень хотелось есть.

На перемене перед уроком я пошел в столовую. У меня была бумажная купюра в кармане, ежедневно выдаваемая на пропитание. Иногда меня мучила дилемма. Можно было копить пять дней на банановую жвачку «Bom bim bom», либо копить три дня, чтобы в столовой купить стакан топленого молока с бутербродом. Но топлёное молоко непременно отдавало гарью, а вкус жвачки ненадолго делал жизнь слаще.

В столовой у прилавка выстроилась настороженная очередь за молоком. Везунчики покупали сладкий чай с коржиком. Многие, как я, бесцельно слонялись по залу и блудливыми глазами озирали столы.

На входе появились пятеро группировщиков. Трое остановились на входе, чтобы отловить убегающих, двое других подошли к заметно поредевшей очереди. В душе я радовался тому, что у меня не было денег и что их не придётся отстаивать. На лицах школьников читался страх, каждый боялся оказаться униженным на глазах у всех. Один только Иншаков пользовавшийся покровительством авторитета (друга отца), оставался беззаботным и не спрятал в карман обеденных денег. Вероятно, гопникам бросилось в глаза его вызывающее поведение.

– О, братан, поделись с пацанами!

Иншаков не ожидал такого, и отвечать он стал заискивающе:

– Пацаны, сам есть хочу.

– Жалко для пацанов? – на него смотрели с укором.

– Да мне самому едва на обед хватает…

– Нюх потерял?

Группировщик легко выхватил купюры из рук Иншакова:

– Улица не забудет, братан. Мы тут все одна семья.

Школьники, замерев, наблюдали. Иншаков покраснел.

– С Коленом пообщаешься.

– Ты кого пугаешь? – Несильным, но точным ударом в подбородок Иншакова отправили в нокдаун. – Потеряйся.

Потом подошли к старшеклассникам, потребовали денег взаймы и со всех получили. Никто не избежал позорной участи: ни старшеклассники, ни школьные хулиганы, кичившиеся покровительством. Все они не прочь были поизгаляться над другими, но теперь их самих определили.

Между тем привязались к мальчишке из семьи беженцев. Поскольку мальчишка был из нищей семьи, то было совершенно неясно, каким образом он оказался в очереди. Он даже

на общую фотографию класса не сдавал денег и в такие дни просто не приходил в школу под разными предлогами. Я не слышал, чем и как ему угрожали, а только слышал один и тот же, словно испорченная пластинка, тупой ответ:

– Я сам хочу есть.

Теснясь от вымогателя к прилавку, он изогнулся, словно из него душу вынимали, и растягивал слова как резину, как жвачку, с детским упрямством. Он был в рваных кедах и школьной форме, которую уже мало кто носил, только такие ребята как он и как я – нищие. Мы никому и ни за что не признались бы в нищете, как не признавались в трусости наши мучители, которые были унижены на глазах у всех более злобными упырями. Ухищрения нищих казаться наравне со всеми были заметны и вызывали насмешку в школьной среде, но ни у кого не вызывало желание посмеяться над теми, кто привык кичиться и бахвалиться, если их «определяли на черта». Никому не пришло в голову посмеяться над Иншаковым.

Наконец, несколько ударов в пресс убедили мальчишку из семьи беженцев отдать деньги. Он остался сидеть на корточках поодаль от очереди и пытался отдышаться. Я подошел к нему, видимо, хотел приободрить:

– Как ты?

Мальчишка взмахнул копной и сквозь гримасу боли, попытался улыбнуться:

– Порядок.

За длинным столом завтракали школьники из неблагополучных семей. Вскоре они поднялись из-за стола и ушли. Историк ответственный за их безопасность вышел вслед за ними. Я рефлекторно приблизился к их столу, который через минуту другую должны были прибрать дежурные. На одной из тарелок осталось чуть больше половины ватрушки. Даже с повидлом на краюхе. Наверное, я смотрел на неё с вожделением. Загадочно переглядываясь меж собой, подтянулись и другие школьники. Самый шустрый вдруг схватил ватрушку и принялся есть. В ту же секунду ему закричали: «Нищеброд, мразь! Фу!» Шустрый швырнул объедок на пол, словно какую-то заразу, но было поздно. На него показывали пальцем и кричали: «Фу, черт гашенный!». Трудно представить, что двадцать голодных ребят, молча ухмыляясь, ждали такую же голодную жертву, как и они сами, только ради того, чтобы поизгаляться. Вряд ли голод располагает к таким схемам. Впрочем, никто из них не признался бы в том, что сам намеревался съесть объедок.

Прозвенел звонок, и я побежал на второй урок, очень довольный тем, что меня дважды миновала позорная участь. Из-за задержки в столовой я опаздывал на две минуты. Летел, как ветер, по коридорам, взлетал на этажи, перепрыгивал по три ступени разом, и вместе со мной неслись многие другие опаздывающие на урок. Потоки сталкивались в коридорах, на поворотах, на углах, весёлая кутерьма скатывалась со ступеней. Наконец я достиг рекреации, в конце которой был нужный мне кабинет. Мой класс толпился возле кабинета, лица ребят были сконфужены, отчего-то математичка гневно кричала на них. В сторонке стоял довольный Иншаков. Ещё чуть дальше группка лохов из нашего класса. При моём появлении лица ребят загорелись надеждой. Когда я приблизился, подручные Иншакова схватили меня и с хохотом принялись заталкивать в кабинет, а я вяло сопротивлялся, ничего при этом не понимая. Мальчишки закричали: «Чмо, фу!». Наконец, я догадался, что Иншаков сказал всем, что тот, кто первым переступит порог кабинета – чмо. Никто не входил: ни девочки, ни мальчики, ни лохи успевшие отбежать на безопасное расстояние. Даже когда подошла учительница и начала возмущаться, никто не сдвинулся с места. С тоскою я смотрел на учительницу, но её возмущения как ни бывало:

– Ну, будет, будет вам, ребята…

Второй исполнитель

За окном школьного кабинета весело отыгрывал апрель. На ветках распускались почки. Проглянули зелёные побеги на бурых прогалинах. На школьном стадионе кучковалась молодая шпана и решала какие-то глобальные вопросы. Хорошо бы, казалось мне, оказаться на улице подобно этим угрюмым ребятам, потому что в кабинете витала пыль и скука. Учительница извлекала корни из наших мозгов.

Пацаны на стадионе получали хорошие отметки за отсутствие на уроке. Они отымали деньги и унижали всех без разбору. Бывало, приезжали в школу на японских и немецких авто. Были и свои минусы в виде еженедельных строгих сборов, где могло изрядно влетать. Это при том, что у группировщиков была обязаловка на бокс.

За соседней партой Иншаков и компания обсуждали, ни от кого не таясь, как и когда будут присоединяться к группировке. Их намерения могли кратно усложнить мою жизнь. Я и так каждую перемену продумывал свои маршруты в школе: избегал коридора, ибо там протекал весь хулиганский сброд, а гопники ходили как у себя дома. На перекур я бегал нечасто, если только был уверен, что там не было упырей. Однако если бы мои одноклассники присоединились к группировке, то все мои ухищрения потеряли бы смысл.

От голода, казалось, что желудок намотался на позвоночный столб, а вместе с этим ощущением во рту появлялся привкус мазута. Я собрал пожитки в пакет и вышел из кабинета. Я сделал это без объяснений и не обратил внимания на разинутые от удивления рты. Я отправился за теплицы, чтобы покурить и встретил паренька из параллельного класса.

Месяцем ранее нас свел случай. Как-то я встретил Грошикова в рекреации, он стоял один в стороне от своего класса. Я подошёл к нему и протянул руку, но он тихо сказал:

– Не здоровайся со мной, а то скажут, что ты тоже опущенный, – и добавил, – не верь, это Ананьев слухи распускает.

Я посмотрел на его класс, внимательно наблюдавший за нами. Над головами возвышался белобрысый Ананьев. Я переспросил Грошикова:

– Так это неправда?

– Конечно, неправда.

Я пожал ему руку. Его класс тотчас же заверещал, показывая на меня пальцами: «Фу, помазок!» Я и не думал подходить к ним, чтобы поздороваться. Они все равно кричали: «Фу, иди на…, не подходи к нам, мразь!» С неделю меня называли помазком, и отношение ко мне было соответствующим, пока миф о прошлом Грошикова не был развеян. Ананьев признался случайно: «Я пошутил», – и все порадовались, говоря о том, как благородно поступил Ананьев, сознавшись. Поэтому, увидев Грошикова, я обрадовался искренне. К тому же мне нечего было курить. Я с удовольствием закурил предложенную сигарету. Грошиков спросил:

– Тебе нужна «денди» на три дня?

– У меня денег нет.

– Да без денег, просто поиграть на три дня возьмёшь? Пять картриджей дам.

Это была моя мечта поиграть в денди, запереться дома, не выходить на улицу, не открывать двери, не отвечать на звонки, не вспоминать о школе, не думать ни о чём, кроме танков и твёрдолобого Марио. К тому же мой класс вот-вот должен был пополнится новыми гопниками.

– Спасибо!

Грошиков побежал в школу и через пять минут вернулся с пакетом. Он светился и улыбался. Я пошел домой, конечно, издали огибая стадион, на котором собралась группировка. На всё было плевать: на уроки, на завтрашний день, и на послезавтрашний, и на всю школу. Я вбежал домой, подключил к телевизору приставку, включил в розетку, но никакого эффекта

не было. Я пробовал и так и этак, принимался за дело с одной стороны, потом с другой – всё было бесполезно. Я отвинтил винтики и заглянул под корпус – там было пусто: ни схем, ни деталей. Я прибежал в школу к завершению третьего урока, нашёл Грошикова, отдал пакет:

– Чо такое? – поинтересовался Грошиков.

– Не смешно, – сказал я, – голый корпус, ни одной схемы нет…

– Ты гонишь? – возмутился он. – Ты приставку сломал. Это вообще Ананьева приставка, попробуй, объясни ему.

На перемене группировщики завели меня в туалет, сначала долго угрожали, потом избивали, потом снова угрожали. Я твердил одно и то же, что денег не дам, что моей вины нет, что они меня не разведут на лоха. Мне сказали на прощание:

– Чтобы завтра деньги были. Не принесёшь, башку оторвем.

Я усвоил, что люди сбивались в кучу только для того, чтобы легче было мучить других людей. Моего отца донимал оргкомитет. Братик жаловался на одноклашек, которые сумели скооперироваться между собой. Мать с приятельницами по телефону решала: кого выжить с работы, кого «срочно поставить на место», кому из коллег «перекрыть кислород».

Я пришел к выводу, что среда в которой я обитаю сильнее меня. Она как будто стремилась довести меня до состояния послушного дебила. Каждодневная лоботомия, очевидно, была неизбежна. Коридоры, рекреации, гетто и люди, люди, люди… пока я шёл на выход из школы, школяры почему-то злорадно ухмылялись мне. Может быть, я слишком начал выделяться из общей массы. Я остро почувствовал, что между мной и остальным миром существовала пропасть.

Черное крыло

В соседнем от школы дворе я издали приметил Третьяка с компанией. Третьяк был взрослее своих приятелей. У него за плечами была судимость и дисбат. Вместе с приятелями он грабил поздних прохожих и иногда выносил хаты. Группировщики его не трогали, потому что в его маленькой банде были чиграши, чьи старшие братья были взрослыми авторитетами в ОПГ.

Самым отчаянным был Шкет. С Морсом у меня были особые счёты, поскольку нам довелось драться в том году: он был толстый и задиристый. Я одолел, но на следующий день меня побили группировщики по просьбе его старшего брата. Также были в компании Третьяка близнецы: Косой и Пепс. У Пепса был ВИЧ. Он хорохорился, что проживёт ещё семнадцать лет, то есть столько же, сколько уже пожил. Он был совершенно простодушен. Косой знаменит был тем, что мог залезть по соседским балконам в свою квартиру на восьмом этаже, когда мать уезжала на север. Она не оставляла сыновьям ключи от квартиры.

Взгляд Морса не предвещал мне ничего хорошего. Я сидел на лавке. На моем лице были кровоподтёки и синяки. Морс остановился подле меня, улыбнулся:

– Ну что, чушпан…

Не раздумывая, я ударил его. В отличие от группировщиков их я не боялся. Шкет и Пепс кинулись на подмогу Морсу. Началась возня, в ходе которой они безуспешно пытались меня положить. Наконец, вмешался Третьяк и хорошенько приложился мне по зубам. Я упал, но всё тот же Третьяк не дал добить меня ногами. Он помог мне подняться и отряхнуться, а потом сказал как-то добродушно:

– Пойдём с нами.

Мы все пошли домой к близнецам, а Пепс побежал за водкой. Лифт не работал, поэтому на восьмой этаж мы поднимались пешком. На третьем этаже нам повстречался местный алкоголик. Шкет отчего-то рассвирепел и стал его бить, остервенело прыгать на его голове до тех пор, пока тот не перестал подавать признаков жизни. Всего я не видел, потому что с остальными поднимался дальше. Как не видел и того, что на крики выбежала жена алкоголика, которой также изрядно досталось от Шкета. Потом Шкет вломился к ним в квартиру в поисках наживы – там-то его и повязали сотрудники. О произошедшем в подъезде поведал вернувшийся с водкой Пепс. Мы забаррикадировали парадную дверь, а затем стали пить водку, которую заедали квашеной капустой. Ничего другого из еды в квартире не было. Темы за столом сводились к дракам и бабам, а когда это надоело обсудили перспективу грабежа соседской квартиры. Затем все согласились с тем, что неплохо было бы вечером пройтись по району, чтобы насшибать деньжат, поскольку водка была на исходе. Вспомнили знакомых дворовых ребят: тот в колонии строгого режима, этот зарезан, другой повесился, четвёртый помер от тубика. Опять заговорили о бабах. Вспомнили какого-то знакомого, бившего, бившего и, в конце концов, зарубившего мать. Расправляясь с четвёртой бутылкой, помянули покойного Колено, накануне расстрелянного в собственной квартире, что стало для меня новостью. После пятой бутылки близнецы начали ругаться между собой: «Как мне рожа твоя надоела!», обменялись ударами, опрокинули стол, схватились за ножи. Третьяк успокоил одного ударом в ухо, другого пинком в живот. Пепс в падении случайно порезал руку и все заметно занервничали. Все были раздеты по пояс. Каких только не было партаков: тарантул, ползущий по паутине, меч с аббревиатурой, свастики, оскалы волков и львов, собор с куполами. Дополняли их синее разнообразие золотые и серебряные кресты. Косой поцеловал крестик:

– Прости мя, прости мя, прости мя…

Остальные перекрестились и тоже поцеловали кресты. Морс по-мусульмански провел ладонями по лицу.

– А ты чего? – Спросили меня.

– Я пока не знаю.

Морс упрекнул меня, что отказываюсь от веры моих предков. Другие стали склонять к православию. Косой и Морс вышли из кухни. Там было две комнаты, в которых я ещё не был. Их не было довольно долго.

– Чего это они так долго?

– Трахают, наверное.

– Кого?

– Там набуханная на полу лежит. Она у нас уже три дня, – небрежно пояснил Пепс, и добавил простодушно, словно желал мне угодить. – Если хочешь тоже, милости просим.

Я пошёл посмотреть. На полу лежала невменяемая пьяная баба, широко раскинув ноги. Нательный крестик лежал на потрескавшихся губах, медная цепочка висела на ухе. Пах едва прикрывала оранжевая блуза. Дряблые ляжки дрожали как холодец: меж ними покатывалась бутылка. Морс с Косым стояли над ней, плотоядно ухмылялись и катали ногами бутылку от шампанского по полу. Когда я появился в комнате, они посмотрели на меня так, дескать, гляди как весело. С каждым толчком баба рефлекторно постанывала: «О, о, о!» – слова тонули в рвотном клокотании. По ним было видно, что вызываемый этим воздействием рефлекс забавлял их.

Я остолбенел.

Потом я увидел над плечом Косого совершенной формы чёрное крыло. Морс вопросительно посмотрел на Косого: «Ну что? Кто первый?» – и засмеялся, нисколько не смутившись, что за спиной у приятеля крыло. Крыло было хорошо видно, поскольку «локтевой» сустав, или изгиб, красиво и точно преломлялся на уровне макушки. Ни перьев, ни перепонок не было, а только сплошная чёрная материя. Вдруг что-то взвыло и что-то холодное легонько коснулось моего затылка, от этого волосы на голове зашевелились, как живые черви, и поднялись дыбом. Я понимал, что вероятно это галлюцинация и всё мерещится, и что на самом деле загудели чугунные радиаторы, а в затылок подул сквозняк, но вдруг взглянувшие на меня Косой и Морс побледнели. Нас разделяло метра три. Косой перевёл взгляд на пьяную бабу, потом на бутылку, упал на колени, но крыло осталось, как бы зависнув в воздухе. И тогда стало видно, что это была всего лишь чёрная кофта, висящая на гвозде, забитом в косяк балконной двери. Косой опёрся руками о пол, чуть наклонился, как будто сильно мутило. Я подошёл к нему и дотронулся до плеча. Он замычал и замотал головой. Тогда я спросил Морса:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.